

Иван Соболев



Мелодия ВЫСОТЫ

18+

Иван Соболев

Мелодия высоты

<https://litres.ru/74621224>

SelfPub; 2026

Аннотация

Они были главным музыкальным дуэтом страны, но их идеальный союз держался на зависимостях и профессиональном молчании.

Громкий разрыв прямо на сцене, попытка примирения на борту арендованного самолета и страшная авиакатастрофа посреди Атлантики — в один миг Виктор Орлов и Мария Вологодина исчезают для всего мира. Окружающие признают их погибшими, но океан не забрал их жизни. Он забрал их память.

Выжившие артисты оказываются на изолированном архипелаге, разделенные проливом. Они не помнят своих имен, триумфа и прошлых обид. Единственное, что уцелело в их сознании — навязчивая мелодия из четырех нот. Пока влюбленный островной врач пытается скрыть от Марии правду, музыка заново связывает двух незнакомцев. Впереди у них — запись сингла на старый кассетник, побег в шумный Нью-Йорк и отчаянная попытка вспомнить друг друга. Ведь даже когда разум стирает всё, сердце продолжает помнить правильные ноты.

Иван Соболев

Мелодия высоты

Глава 1. Последний дуэт

Зал Дворцового на Тверской был набит до отказа. Три тысячи мест и ни одного свободного. Люди стояли в проходах, сидели на ступенях лестниц, жались к стенам фойе. Билетов не хватило даже тем, кто стоял в очереди с шести утра. Кто-то умудрился пронести плакат «ВИКТОР И МАРИЯ — НАВСЕГДА», и этот плакат то и дело взлетал над головами, как парус.

За кулисами пахло пылью, талым снегом от ботинок и чьим-то чересчур щедрым парфюмом. Виктор стоял у занавеса, опираясь лбом о холодный кирпич стены. Глаза закрыты. Пальцы левой руки медленно сжимались и разжимались так, будто он нащупывал невидимые клавиши.

Он не слышал гула зала. Не слышал, как в пятнадцатом ряду девушка плачет от счастья, что вообще сюда попала. Не слышал, как администратор Лариса Петровна ругается по рации с охранником, пропустившим кого-то без пропуска. Он слышал только тишину ту, что бывает перед первой нотой. Тишину, в которой уже звучит всё.

— Витя, — раздался голос за спиной. — Пять минут. Он открыл глаза.

Мария стояла в полутора метрах от него. Белое платье

простое, до колен, с тонкими бретельками. Волосы собраны в высокий хвост, отливают платиной в тусклом свете ламп. Лицо спокойное, готовое. Она всегда была готова. Он — не всегда.

— Пять минут, — повторил он, словно пробуя эти слова.

— Четыре с половиной. — Она чуть улыбнулась. — Ты бледный.

— Это грим.

— Ты не красишься.

— Значит, природное очарование.

Мария покачала головой, но не стала спорить. Она знала, что спорить с ним перед концертом всё равно что уговаривать реку течь медленнее. Бесплезно и немного жалко.

Виктор проводил её взглядом, когда она ушла к гримёрке. Хотела что-то сказать — он это видел. В последние недели она часто хотела что-то сказать. Но не говорила. Они оба научились молчать профессионально.

Из кармана его пиджака торчал плоский белый флакончик. Флакончик был тёплым от тела. Виктор коснулся его пальцами привычно, как кошелька или ключей. Там, внутри, под пластиковой крышкой, жило всё, без чего он не выходил на сцену последний год.

Он не был идиотом. Он знал, что это. Он знал, как это называется, когда человек не может выйти на сцену без двух таблеток, запивая их стаканом виски из мини-бара. Он знал. Но знание и согласие — разные вещи.

Зал загудел громче. Это означало, что свет начал гаснуть. Первые аккорды Виктор брал с закрытыми глазами.

Это был их коронный номер — «The Falling», песня, с которой всё началось три года назад. Он написал её за одну ночь в съёмной квартире на Патриарших, когда Мария ещё была просто Машей из музыкального училища, а он — просто Витей, который подрабатывал сессионным гитаристом и сочинял песни, которые никто не покупал. Песня была о падении — не о падении вниз, а о падении в кого-то. О том моменте, когда ты понимаешь, что человек рядом с тобой — не просто человек, а гравитация.

Мария выходила на словах «and I am falling, falling, falling — into you». Это был их ритуал. Зал каждый раз ждал этого момента, и каждый раз Виктор чувствовал, как три тысячи человек одновременно перестают дышать.

Она вышла.

Блондинка в белом платье сияющая, лёгкая, с улыбкой, которая, казалось, освещала сцену лучше прожекторов. Подхватила мелодию, и их голоса сплелись: его тёмный, с хрипотцой, её — чистый, как ручей в горах. Они стояли рядом, но не касались друг друга. Между ними всегда было двадцать сантиметров расстояние, которое зритель воспринимал как напряжение, как обещание, как почти-но-не-совсем. Это работало. Это работало так, что продюсеры трёх телеканалов предлагали им контракт на реалити-шоу.

Виктор открыл глаза.

Зал был морем света телефоны, поднятые вверх, маленькие мерцающие точки, словно кто-то рассыпал звёзды по партеру. Он видел лица: первую линию, где стояли самые преданные, с плакатами и заплаканными глазами; десятый ряд, где сидели те, кто пришёл «за компанию» и теперь не мог оторваться; балкон, где кто-то снял пиджак и размахивал им над головой.

Он пел. Пел о падении, о гравитации, о том, как страшно и сладко раствориться в другом человеке. И на секунду — только на секунду — ему показалось, что всё в порядке. Что таблетки в кармане — это просто таблетки, что ссоры за кулисами — просто творческие разногласия, что они с Марией — просто дуэт, который звучит.

Потом музыка кончилась.

Нет. Не кончилась она должна была перейти во второй куплет. Виктор помнил. Он написал эту песню, он знал каждый такт, каждую паузу. Но между первым припевом и вторым куплетом была пауза — четыре такта тишины, в которой Мария уходила на противоположный край сцены, а он оставался один у микрофона. Четыре такта. Четыре удара сердца.

На втором ударе он почувствовал это.

Сначала лёгкость. Как будто пол под ногами стал тоньше. Потом звон в ушах, тонкий, стеклянный, как будто кто-то провёл мокрым пальцем по ободку бокала. Потом темнота. Не снаружи. Внутри. Темнота, которая хлынула из центра

головы и залила всё: и свет прожекторов, и лица в зале, и белое платье Марии, и песню, и себя.

Виктор упал на колени.

Микрофон взял удар — металлический звон разнёсся по колонкам, и зал замер. Три тысячи человек одновременно поняли, что что-то не так. Виктор стоял на коленях, опираясь руками о пол сцены, и не мог встать. Голова была пустой, как комната, из которой вынесли мебель. Он слышал гул то ли толпы, то ли крови в висках и не мог понять, где он.

«Вставай, — подумал он. — Вставай, вставай, вставай...»

Но тело не слушалось. Тело было чужим.

И тогда Мария.

Она не растерялась. Она никогда не терялась на сцене — это было её даром, может быть, главным. Она подошла к нему, танцуя легко, будто ничего не случилось, будто так и было задумано. Присела рядом, взяла за локоть, приподняла. Её пальцы были тёплыми и уверенными. Он почувствовал запах что-то цветочное, что-то простое, что не шло ни к какому гранжу и ни к какому фальцет-дуэту, но было именно тем, что вернуло его к свету.

— Не выпался, — сказала Мария в микрофон, и голос её был звонким и весёлым, и в этом веселье было столько любви и столько усталости, что зал засмеялся с облегчением. — Витя ночью допоздна смотрел сериал. Я ему говорила: ложись, а он — нет, ещё серию.

Зал смеялся. Виктор стоял, держась за её руку, и мир мед-

ленно возвращался: сначала звук, потом цвет, потом вес собственного тела. Мария повела его к кулисам легко, как ведут партнёра в танце, и толпа аплодировала, и кто-то кричал «Браво!», не понимая, что бравировать тут нечем.

За занавесом Мария отпустила его руку.

— Дойди до гримёрки, — сказала она тихо. Голос изменился: веселье исчезло, будто выключатель щёлкнули. — Сядь. Я допою одна.

— Маша...

— Не надо. — Она не смотрела на него. — Просто дойди.

Она вернулась на сцену. Зал встретил её овацией. Она спела «The Falling» до конца одна, а капелла, без аккомпанемента. Голос её дрожал на верхних нотах, но дрожал красиво, так, что зал принимал это за чувственность. Никто не знал, что она дрожала от злости.

Виктор дошёл до гримёрки. Сел на пуфик перед зеркалом. В зеркале на него смотрел бледный тридцатилетний мужчина с тёмными волосами, приклеенными ко лбу от пота. Круги под глазами. Тонкие губы, сжатые в нитку. На полке флакончик. Он не помнил, когда достал его из кармана, но он был здесь, на полке, рядом с гримом и чужой расчёской.

Виктор посмотрел на флакончик. Флакончик не ответил.

Из-за стены доносился голос Марии и рёв зала. Она допевала «Golden», их второй хит песню, которую он написал для неё, и которую она обычно не пела без него. Сегодня пела. Сегодня пела одна.

Виктор закрыл глаза.

Три года назад он написал «The Falling» и не знал, что в этой песне — вся его будущая жизнь. Что она принесёт ему славу, деньги, золёные диски на стене и гастрольный автобус, который пахнет кофе и носками. Что она принесёт ему Марию — её голос, её смех, её руку на его плече, когда всё плохо. И что она принесёт вот это: флакончик на полке, дрожь в коленях, темноту в голове и женщину, которая поёт без него, потому что он не может.

Зал стих. Он услышал, как Мария сказала: «Спасибо, Москва. Мы любим вас». Не «я». «Мы».

Она всегда говорила «мы».

Через полчаса Мария вошла в гримёрку без стука.

Она уже переделалась джинсы, свитер, кроссовки. Волосы распущены. Лицо без грима и без грима она выглядела моложе, беззащитнее, хотя слово «беззащитная» к Марии подходило так же, как «тёплый» к айсбергу.

Виктор сидел на том же пуфике. Флакончик лежал на полке. Он не притронулся к нему, но и не убрал.

— Ты как? — спросила Мария.

— Живой.

— Это видно. — Она села на диван, закинула ногу на ногу. Помолчала. — Витя, мне надо с тобой поговорить.

— Я знаю.

— Нет. Ты не знаешь. — Она посмотрела на него, и в её глазах было что-то новое — не злость, не усталость, а реши-

мость человека, который долго шёл к краю и наконец остановился. — Я так больше не могу.

Глава 2. Ночь и дождь

— Я так больше не могу.

Мария произнесла это ровно, без надрыва как ставят точку в конце длинного предложения, которое и так было слишком длинным. Виктор смотрел на неё и молчал. Молчание было его защитой, и она это знала, и это злило её больше всего.

— Ты слышал меня? — спросила она.

— Слышал.

— И?

— И что? — Он развернулся на пуфике, лицом к ней. — Ты пришла сказать, что устала. Я понял. Я всегда понимаю.

— Нет. Ты не понимаешь. — Мария встала с дивана. — Ты думаешь, что понимаешь. Это разные вещи, Витя. Ты думаешь, что если кивнул и посмотрел грустными глазами, то всё решено. Ничего не решено. Ты упал сегодня на сцене. На сцене, Витя. Перед тремя тысячами человек.

— Я знаю, сколько там было человек.

— А я знаю, что будет дальше. — Она подняла палец. — Сначала завтрашние заголовки: «Знаменитый дуэт на грани». Потом через неделю — разговор с Ларисой Петровной, которая предложит «взять паузу». Потом через месяц — ты найдёшь нового продюсера, потому что старый скажет, что ты ненадёжный. Потом через полгода — ты будешь петь

один. Если вообще будешь.

— Маша...

— Дослушай. — Голос её стал тише, и от этого опаснее. — Я тащу этот дуэт последний год. Я. Не мы. Ты пишешь песни — да. Ты гениальный автор — да. Но выйти на сцену — это не только написать песню. Это встать и спеть. Ты не можешь встать без... — Она не закончила. Посмотрела на полку. На флакончик. — Без этого.

Виктор проследил её взгляд.

— Это не твоё дело, — сказал он.

— Моё. — Мария шагнула к нему. — Когда ты падаешь посреди концерта — это моё дело. Когда мне приходится объяснять трём тысячам человек, что ты «не выспался» — это моё дело. Когда продюсер звонит мне, а не тебе, потому что ты не берёшь трубку — это моё дело. Ты сделал это моим делом.

— Я не просил тебя тащить.

— А я не просила тебя падать.

Тишина повисла между ними, как натянутая струна. Виктор чувствовал, как в груди поднимается что-то горячее, тёмное, знакомое то, что он обычно гасил таблеткой. Сейчас — нечем было гасить. Флакончик лежал на полке, и пальцы сами тянулись к нему, но Мария стояла между ним и полкой, и он не мог — не при ней.

— Твои таблетки скоро убьют твой талант, — сказала Мария. — Кому ты будешь нужен?

— Мне никто не нужен.

— Мне тоже? — Она спросила это быстро, почти резко, и тут же пожалела он увидел, как она сжала губы, как отвела взгляд. Но слова уже были сказаны, и висели в воздухе, как запах пороха.

Виктор встал.

— Ты пришла сказать, что дуэт нежизнеспособен? — Голос его был тихим, но в этой тишине было что-то режущее. — Что ж. Дуэт нежизнеспособен. Ты свободна. Иди.

— Витя...

— Иди. — Он показал рукой на дверь. — Ты пришла сюда не разговаривать. Ты пришла поставить точку. Ставь.

Мария смотрела на него долго, тяжело, так смотрят на человека, которого любят и которым разочарованы. Потом повернулась и вышла.

Дверь закрылась мягко. Это было хуже, чем хлопок. Хлопок — это злость, это ещё можно пережить. Мягкий щелчок — это конец.

Виктор стоял один в гримёрке. За стеной гудел зал — овация не стихала, и он понимал, что аплодируют Марии, а не ему. Марии, которая вытащила концерт. Марии, которая не упала.

Флакончик лежал на полке. Виктор взял его. Повертел в пальцах. Белый пластик, ничего особенного. Внутри — четырнадцать таблеток. Он не помнил, когда считал их в последний раз, но помнил, что было шестнадцать. Значит, две

сегодня. Одна перед концертом, одна после.

Он не выбросил их. Положил обратно в карман.

Мария вышла из концертного зала через служебный выход. Охранник молодой, с усами и вечно красным лицом — кивнул ей:

— Машина внизу, Мария Сергеевна.

— Спасибо, Коля. Я пешком.

— А... ну... — Он посмотрел на улицу. — Дождь же.

— Я знаю.

Она вышла.

Дождь был не московский — какой-то невиданный, тёплый, почти южный. Октябрь, а лил так, будто июнь. Лужи стояли зеркалами, и в них отражались жёлтые фонари, красные вывески, фары машин. Мария шла по Тверской и не знала, куда идёт. Ноги несли — куда-то.

Она не плакала. Плакать — это значит признать, что всё кончено. А она не была готова. Она была зла, разочарована, вымотана, но не готова.

Дождь хлестал по лицу. Ветер трепал распущенные волосы, лепил их к щекам. Свитер промок насквозь. Мария шла и думала: «Дуэт нежизнеспособен». Она сама произнесла эти слова чужие, канцелярские, из тех, что произносят на собраниях, когда закрывают проект. Но это был не проект. Это была её жизнь. Последние три года — её жизнь. И всё, что она имела голос, сцену, песни, — всё это было связано с человеком, который не мог выйти на сцену без двух таблеток

и стакана виски.

Она свернула на переулок. Здесь было темнее, тише. Дождь барабанил по жестяным козырькам подъездов, по ржавым трубам, по картонным коробкам у мусорных баков. Мария остановилась у витрины — закрытый магазин цветов, внутри пионы, розы, какие-то ветки с белыми бутонами. Она прижала ладонь к стеклу. Стекло было холодным.

«Я больше не буду терпеть», — сказала она Виктору. Сказала и вышла. Как будто терпение — это ресурс, который кончается, как топливо в баке. Может быть, так и есть. Может быть, у каждого человека есть свой бак, и у неё он наконец опустел.

Но если бак опустел — почему так больно?

Она достала телефон. Экран мигнул: семнадцать пропущенных. Лариса Петровна — четыре раза. Подруга Катя два. Мама один. Номер без имени десять. Номер без имени был у всех: журналисты, фанаты, сумасшедшие. Она выключила телефон.

Шла дальше. Дождь усиливался. Где-то на Садовом она присела на мокрую скамейку и сидела, глядя, как вода стекает по асфальту маленькими реками. Ей было двадцать семь лет. Она была знаменита. У неё был золотой диск на стене и больше миллиона подписчиков. И она сидела на мокрой скамейке в промокшем свитере и не знала, куда идти.

«Кому ты будешь нужен?» — спросила она Виктора. Кому? Ей. Ей он был нужен. Именно поэтому она и ушла —

потому что быть нужной тому, кто не может жить без таблетки, — это медленно тонуть.

Мария встала. Поймала такси.

— Куда? — спросил водитель, глядя на неё в зеркало.

Она назвала адрес. Свой. Не гостиничный свой. Квартира на Соколе, которую она купила год назад и где не жила, потому что дуэт всегда был в разъездах. Квартира была пустая, без еды, без тепла, но она была её. Только её.

Утром Москва была другой.

Дождь кончился. Небо стояло бледное, вымытое, как будто его протёрли мокрой тряпкой. Лужи отражали голубое. Воздух пах осенью — жжёными листьями, мокрым асфальтом, чем-то горьким и свежим.

Мария проснулась на голом матрасе — постельное бельё она не привезла, а в квартире не было. Подушка куртка, свёрнутая валиком. Она лежала и смотрела в белый потолок и думала: «Что я наделала?»

Потом взяла телефон. Включила. Экран взорвался.

Семьдесят четыре пропущенных. Сорок одно сообщение. Двенадцать голосовых. И заголовки. Заголовки везде.

Она открыла первое, что попало. «Московский курьер». Крупный шрифт, фото она и Виктор на сцене, месяц назад, в Петербурге. Он улыбается, она смотрит в сторону. Подпись: «Блистательный дуэт распался. Виктор Орлов и Мария Вологодина прекратили совместные выступления»

Мария прочитала. Потом прочитала ещё раз. Потом от-

крыла следующий — «Столичный экспресс»:

«Источники близкие к группе: Орлов не выходил на сцену без медицинских препаратов. Вологодина несла последние концерты в одиночку»

И дальше — «Шоубиз-новости»:

«Конец эпохи: популярнейший дуэт страны прекращает существование. Фанаты в шоке»

Мария закрыла телефон. Легла на спину. Потолок был белым и пустым, и в этой пустоте не было ни песни, ни мелодии, ни голоса ничего. Только тишина, в которой тонуть было страшнее, чем в дожде.

Она подумала: «Я должна была остаться. Досидеть, догнать, дожать». И тут же: «Нечего было догонять». И тут же: «Но я же люблю его». И тут же: «Именно поэтому».

За окном гудела Москва равнодушная, мокрая, живая.

Виктор не читал заголовки. Он не включал телефон. Он сидел в гостиничном номере на кровати и смотрел в стену. Стена была бежевая, с трещиной в углу тонкой, как волос. Он следил за трещиной взглядом, и это было единственное, что он мог делать.

Флакончик стоял на тумбочке. Крышечка откручена. Таблетки лежали веером, как доминошки. Он пересчитал четырнадцать. Две сегодня, двенадцать осталось. Вчера осталось шестнадцать. Позавчера двадцать. Он не помнил, когда купил эту пачку. Он не помнил, сколько пачек купил до неё. Он не помнил, как это началось.

Нет, помнил. Помнил и ненавидел это воспоминание.

Полтора года назад. Студия на Профсоюзной. Запись второго альбома. Третий дубль, четвёртый, пятый — голос не шёл. Продюсер Лёша, с бородкой и вечно холодными руками сказал: «Витя, возьми, это просто успокоительное, у всех так». Белая таблетка, стакан воды. И голос пошёл. Просто, как в сказке. Таблетка открыла дверь, и он вошёл, и за этим порогом было легко.

Потом стало слишком легко. Потом невозможно без. Потом невозможно с.

Виктор встал, подошёл к окну. Москва лежала внизу серая, мокрая, огромная. Где-то там, на Соколе, в пустой квартире Мария. Или не Мария. Может быть, она уехала к маме. Может быть, к подруге. Может быть, улетела. Мария умела исчезать тихо, без следа, как туман.

Он прижался лбом к стеклу. Стекло было холодным. Он подумал: «Я должен измениться». Подумал и не поверил себе. Он говорил это себе сто раз. Каждый раз после. После таблетки, после падения, после того, как Мария смотрела на него вот так — с любовью и разочарованием, как на человека, которого теряешь.

Измениться. С чего начать — он не знал. Реабилитационный центр нет. Слишком публично. Фото, заголовки, «известный певец лечится от зависимости». Он представил и ему стало тошно.

Тогда как?

Он не знал. Но знал одно: начинать придется без флакончика.

Виктор вернулся к тумбочке. Посмотрел на таблетки. Четырнадцать белых кругляшей, аккуратных, безмятежных. Они не виноваты. Он знал, что они не виноваты. Но и он не был виноват — или был? Он не понимал. Он не понимал ничего.

Окно было закрыто. Дождя не было. Небо бледнело, светало. Виктор сел обратно на кровать и сидел, и ждал, и не знал чего.

Глава 3. Бар на углу

Бар назывался «Уголок». Не потому, что стоял на углу — хотя стоял, — а потому, что владелец, толстый армянин по имени Арам, считал, что в жизни каждого человека наступает момент, когда нужно забиться в угол и подумать. Арам был философом в фартуке, и бар его, соответственно, был не питейным заведением, а филиалом экзистенциального кризиса.

Виктор пришёл в девять вечера. Саша — в полдесятого.

Саша был бородат, широкоплеч и добродушен как медведь, которого случайно научили говорить. Он работал инженером на заводе в Очакове, ездил на метро, ел на обед котлеты с пюре и ни разу в жизни не был в концертном зале, где пел его друг детства. Не потому что не хотел — потому что Виктор никогда не звал. Виктор стеснялся. Саша — не

обижался.

— Лицо у тебя какое-то... — Саша сел напротив, снял куртку, посмотрел на друга внимательно, как осматривают стену перед ремонтом. — Хмёртое.

— Хмёрое, — поправил Виктор.

— Тем более. — Саша подозвал официантку. — Два виски. Нет, один виски, один чай. — Он покосился на Виктора. — Ты ведь...

— Два виски.

— Витя.

— Два.

Официантка ушла. Саша вздохнул. Он вздыхал тяжело, всем корпусом как кузнечный мех. Это означало, что он согласен. Не с тем, что Виктор будет пить, — с тем, что Виктор будет пить в любом случае, и спорить бессмысленно.

Молча чокнулись. Виктор выпил первым, быстро, как лекарство. Саша медленно, с достоинством человека, который пьёт редко, но со вкусом.

— Ну, — сказал Саша. — Рассказывай.

— Что рассказывать?

— Всё. Ты позвонил и сказал «надо поговорить». Люди, которые говорят «надо поговорить», обычно либо разводятся, либо садятся в тюрьму, либо то и другое. Ты, надеюсь, не разводишься — ты же не женат.

— Не женат.

— Ну вот. Значит, садишься.

— Не сажусь. — Виктор повертел стакан. Лёд звякнул. — Я развалил дуэт.

— А, — сказал Саша. — Это я по телевизору видел. Ну не развалил, а... — Он пошевелил бровями. — Она ушла?

— Я её выгнал.

— Ты?

— Она пришла ставить точку. Я не дал ей поставить. Поставил сам. Так быстрее.

— И?

— И ничего. Сижу в баре с тобой. Пью.

Саша помолчал. Он умел молчать — не как Виктор, из защиты, а по-настоящему: слушать тишину, пропускать через себя, ждать, пока она созреет в слова. Этому его научил отец, шахматист-разрядник, который говорил: «Ходи тогда, когда уже не можешь не ходить».

— Зачем выгнал? — спросил он наконец.

— Потому что она пришла уходить. — Виктор посмотрел на него — впервые за вечер прямо. — Понимаешь? Она уже решила. Она стояла и говорила мне, что я — проблема. Что таблетки убьют талант. Что дуэт нежизнеспособен. И я смотрел на неё и понимал: если она сейчас уйдёт сама, она будет жалеть. Будет думать, что не дожала, недоговорила, не досидела. А если я выгоню она будет зла, но свободна. Злость проходит. Жалость нет.

Саша смотрел на него, и в бороде его медленно проступала улыбка — не весёлая, а горьковатая.

— Ты благородный дурак, — сказал он.

— Знаю.

— Нет, я серьёзно. Ты благородный дурак. Она не из жалости бы уходила. Она из усталости. Это разные вещи. Жалость — это когда тебе жаль другого. Усталость — когда тебе жаль себя. Она устала, Витя. Это не про то, что она не любит. Это про то, что она не может.

Виктор не ответил. Официантка принесла второй виски. Он выпил. Лёд давно растаял, и виски был тёплым, противным.

— Ты таблетки пьёшь? — спросил Саша.

— Ты тоже по телевизору это видел?

— Нет. Но я не слепой. И не глухой. И я знаю тебя с первого класса. Ты, Витя, из тех людей, которые если чего-то боятся заглушают. В первом классе ты боялся контрольных — грыз ластик. В седьмом — девочек — дёргал их за косички. Сейчас ты боишься сцены. Ластик ты перерос. Косички тоже. Таблетки перерастёшь?

Виктор усмехнулся невесело, через силу.

— Я хочу измениться, — сказал он.

— Хочу — не хочу, это для детского сада. Ты что делаешь?

— Пока пью.

— А не пока?

Виктор поставил стакан. Посмотрел на Сашу и в глазах его было что-то, чего Саша не видел давно: не тоска, не злость,

а растерянность. Виктор, который всегда знал, что делать — на сцене, в студии, в жизни — не знал. Сидел перед другом, тридцатилетний, знаменитый, талантливый, и не знал, с чего начать.

— Реабилитационный центр нет, — сказал Виктор. — Слышишь? Нет. Не предлагай. Я знаю, что ты сейчас скажешь. Нет.

— Я не собирался предлагать.

— Собирался.

— Ну, может, собирался. — Саша откинулся на спинку стула. — Ладно. А что тогда?

— Не знаю. — Виктор опустил голову. — Не знаю, Саш. Честно. Я даже не знаю, как жить без двух таблеток перед выходом. Я не помню, когда последний раз выходил на сцену трезвым. Может, на выпускном в музучилище. И то выпил пива.

— Пиво — не таблетки.

— Спасибо, что просветил.

Саша допил чай он всё-таки заказал чай, не виски, и Виктор заметил это, и оценил, и промолчал. Саша достал телефон, покрутил в руках, убрал.

— Помнишь, — сказал он, — в шестом классе мы с тобой строили план?

— Какой?

— Самолёт. Мы хотели управлять самолётом. Ты тогда болтал, что станешь лётчиком, а я — штурманом. Ты даже

записался в авиамодельный кружок. Два раза сходил и сбросил, потому что услышал по радио «Битлз» и решил, что музыка важнее.

Виктор посмотрел на него.

— Ты сейчас серьёзно?

— Я всегда серьёзный. Это ты у нас творческий. Но я серьёзно. У тебя деньги есть. У тебя время есть — дуэт-то распался. У тебя есть мечта, которая старше, чем музыка. Может, это и есть — с чего начать. Не с центра, не с врачей, не с покаянных интервью. С малого. С самолёта.

— Малого самолёта, — машинально поправил Виктор.

— Малого. Крохотного. Чтобы ты один мог управлять. Не чтобы летать далеко — чтобы летать вверх. — Саша постукивал пальцем по столу. — Ты, Витя, всё время падаешь. Вниз. Может, пора полетать вверх?

Виктор молчал. Молчал долго — так долго, что Арам за барной стойкой успел протереть три стакана и посмотреть на них дважды. Потом Виктор сказал:

— Самолёт стоит денег.

— У тебя есть деньги.

— Уроки пилотирования тоже.

— У тебя есть деньги.

— А если я разобьюсь?

— Тогда ты разобьёшься трезвым. Это, знаешь, лучше, чем если тебя раздавит собственная слава под таблетками.

Виктор засмеялся. Тихо, хрипло, неуверенно как человек,

который разучился и теперь вспоминает. Саша засмеялся тоже громко, от живота. Два смеха сплелись над столом и на секунду бар перестал быть филиалом экзистенциального кризиса и стал просто баром, где два друга смеются над тем, что не смешно.

Виктор вышел первым. Саша остался — допивал чай и смотрел ему вслед через окно. Виктор шёл по тротуару, засунув руки в карманы, и тени от фонарей ложились на его спину, как полосы на тельняшку.

На углу Тверской и Садового Виктор остановился. Достал из кармана флакончик. Подержал в ладони лёгкий, тёплый, невесомый, как спичечный коробок. Четырнадцать таблеток. Четырнадцать белых, безмятежных, ни в чём не повинных кругляшей.

Он зашёл в сквер. Был поздний вечер, пусто, только собачник с таксой у фонаря и влюблённая пара на лавке, которая не замечала никого, кроме друг друга. Виктор нашёл урну чугунную, с узором, старомодную. Встал перед ней, как перед алтарём.

Открутил крышечку. Высыпал таблетки на ладонь веером, как тогда, в гримёрке, на тумбочке. Четырнадцать. Тонкие, белые, без запаха. Он знал, как каждая из них растворяется — во рту, в желудке, в крови. Знал, что через двадцать минут после первой — руки перестанут дрожать. Через тридцать — темнота отступит. Через сорок он сможет выйти на сцену.

Он высыпал их в урну.

Крышечку — туда же. Флакончик туда. Всё.

В урне было сухо. Таблетки упали на газету, на обёртку от гамбургера, на мятый чек. Упали и остались. Белые на сером, как звёзды на небе, которое он не видел из окна гостиничного номера, потому что окна выходили на стену.

Виктор стоял и смотрел на них. Ждал, что почувствует облегчение? гордость? свободу? Чувствовал холод. Октябрьский, сквозной, забирающийся под куртку. И тишину ту, в которой ещё не было песни, но уже было место для неё.

Он отвернулся и пошёл.

Первые двести метров было трудно. Не физически, а как-то иначе, будто из тела вынули стержень, и оно держалось на одном напряжении. Руки дрожали. Он сунул их в карманы глубже, до дна. Шаг. Ещё шаг. Мимо витрин, мимо людей, мимо ночи.

На углу у метро он остановился, достал телефон. Открыл заметки. Пустой экран, мигающий курсор.

И написал — не думая, не выбирая слов, просто позволил руке двигаться:

«I hit the ground, but the ground hit back / Now I'm standing on the crack / between who I was and who I'll be / if I ever learn to let go of me»

Четыре строчки. Корявые, неуклюжие — он это видел. Рифма банальная, ритм хромал. Но это была первая песня за три месяца. Первая — без таблетки. Первая после.

Он сохранил записку. Назвал её «Урна». Убрал телефон.

И пошёл — не в гостиницу, а в аэропорт. Ноги сами туда, где пахло керосином, где гудели турбины, где земля уходила вниз и небо становилось ближе.

Впервые за долгое время — не падать. Лететь.

Глава 4. Высота

Аэроклуб «Высота» находился в сорока километрах от Москвы, за Подольском, на поле, окружённом лесом с трёх сторон и автострадой с четвёртой. Поле было гладкое, ровное — не то, что другие аэродромы, которые Виктор нашёл в интернете: одни были заброшены, другие заросли бурьяном по пояс, третьи выглядели так, будто последний самолёт взлетел с них при Брежневe. «Высота» была живой: на бетонной полосе стояли три якута маленькие, белые, похожие на стрекоз, — и один полуразобранный вертолёт, с которого сняли лопасти и накрыли брезентом.

Инструктора звали Геннадий Павлович. Лысоватый, жилистый, с лицом, выдубленным ветром до такой степени, что кожа напоминала старый чемодан. Он летал с восемнадцати лет — сначала в армии, потом на гражданке, потом просто для себя. Три тысячи часов в воздухе, два аварийных приземления и одна жена, которая ушла, потому что «не могу спать с мужиком, который спит с самолётом». Геннадий Павлович рассказывал об этом спокойно, без обиды как о законе физики: если любишь небо больше земли, земля тебя не

удержит.

— Таблетки пьёшь? — спросил он на первой встрече, глядя на Виктора поверх очков.

— Нет.

— Пьёшь.

— Нет.

— Ну, смотри. — Геннадий Павлович снял очки, протёр их краем рубашки. — Я тебе не психотерапевт и не священник. Мне плевать, что ты пел и с кем. Мне важно, чтобы ты не был пьян или обдолбан, когда садишься за штурвал. Поймаю выгоню. Без предупреждения. Договорились?

— Договорились.

— Тогда поехали.

Первый полёт длился двадцать минут.

Виктор сидел в правом кресле пассажирском, хотя на яке оба кресла были одинаковыми, и технически можно было управлять с любого. Геннадий Павлович сидел слева, руки на штурвале, ноги на педалях. Движения его были неспешными, хозяйскими как у человека, который знает каждую гайку в этой машине и относится к ней не как к инструменту, а как к живому существу с характером.

— Видишь тахометр? — кивал он на приборную панель.

— Обороты держи две тысячи четыреста. Больше перегреешь. Меньше — не хватит скорости для отрыва. Это как с женщиной: не дави, но и не расслабляйся.

Виктор кивнул. Сравнение было дурацкое, но запомина-

лось.

Самолёт разбежался по полосе — бетон под колёсами гудел, фюзеляж дрожал, и Виктор почувствовал, как желудок поднимается к горлу. Это было не страшно — это было новое. Новое — после года, когда каждый день был копией предыдущего: таблетка, сцена, таблетка, сон, таблетка, студия. Новое — это когда тело не знает, что будет дальше, и от этого замирает, и сердце стучит не от страха, а от предвкушения.

Земля ушла вниз.

Виктор смотрел в боковое стекло и видел: лес, дорога, посёлок с крышами цвета ржавчины, река тонкая, серебристая, как трещина на стекле. И дальше поля, жёлтые, убранные, с островками скирд, похожих на спящих животных. И Москва. Вдали, на горизонте, серая, низкая, задымленная, как будто её держали на медленном огне.

— Красиво? — спросил Геннадий Павлович.

— Красиво, — сказал Виктор. И сам удивился, как просто это прозвучало. Без иронии, без подбора слов. Просто красиво.

— То-то. — Инструктор повёл штурвалом, и самолёт наклонился влево. Мир за окном наклонился тоже лес встал стеной, небо съехало вбок, и Виктор инстинктивно схватился за край кресла. — Не бойся. Яка не перевернёшь — центровка не даст. Расслабься. Дыши.

Виктор расслабился. Не сразу — пальцы разжимались

медленно, один за другим, как будто каждый требовал отдельного уговоров. Но через минуту он уже сидел, опираясь спиной на кресло, и смотрел, как земля кружится под ним, медленная и огромная.

И тут Мария.

Не настоящая. Он знал, что не настоящая. Но в облаке, проплывавшем слева по борту, он увидел её лицо — белое платье, платиновый хвост, улыбка, которая освещала сцену лучше прожекторов. Облако было похоже на неё так, как облака бывают похожи на всё, что ты носишь внутри: некрасиво, неточно, но неотвратимо.

Виктор отвернулся от окна.

— Ещё разок, — сказал он. — Давайте ещё круг.

Уроки шли три раза в неделю.

Виктор приезжал в «Высоту» на такси из Москвы — час с небольшим, если без пробок. Брал с собой термос с кофе и блокнот. В блокноте не было записей о полётах — там были песни. Они появлялись странно: не за столом, не в студии, не ночью в гостиничном номере, а в небе. Когда руки держали штурвал, когда ноги давили педали, когда внизу проплывали поля и реки, и ветер свистел в щелях фонаря тогда.

Он записывал после посадки, сидя на скамейке у ангара, пока Геннадий Павлович заправлял самолёт и проверял масло. Записывал быстро, не редактируя так, как играл на гитаре в первые годы: не думая, правильно или нет, просто пуская звук наружу.

Песни были плохие. Виктор это знал. Он был профессиональным автором, он отличал хорошую песню от плохой. Эти были плохие: рифмы банальные, образы плоские, ритм спотыкался. Но в них было что-то, чего не было в последних песнях «дуэта» — жизнь. Живая, сырая, не приглаженная. Как бетонная полоса аэродрома некрасивая, но настоящая.

На третьей неделе Геннадий Павлович сказал:

— Сегодня сам.

— Сам?

— Сам. Взлёт, круг, посадка. Я рядом, но не трогаю. Если что перехвачу. Но ты готов.

Виктор посмотрел на него. Лицо инструктора было спокойным, как всегда, — ни улыбки, ни подбадривания. Просто констатация. Ты готов. Как диагноз.

— А если не готов?

— Тогда бы я не сказал. Я людей не убиваю. — Геннадий Павлович похлопал по фюзеляжу. — Давай, пилот. Погнали.

Виктор сел в левое кресло. Впервые — в левое. Руки легли на штурвал непривычно, тяжело, будто штурвал прибавил в весе. Пальцы нашли сектора газа, ноги педали. Он оглядел приборную панель: тахометр, высотомер, указатель скорости, вариометр, компас. Всё знакомое он выучил это за три недели, повторял как молитву. Но сейчас приборы выглядели иначе. Сейчас — от них зависела жизнь.

— Рули на полосу, — сказал Геннадий Павлович. Тихо, лениво, как будто просил передать соль.

Виктор двинул штурвал. Самолёт послушно покатился по рулѣжной дорожке. Бетон гудел под колѣсами. Полоса была впереди прямая, белая, с жирными стрелками на асфальте, указывающими направление. Ветер сегодня был встречный хорошо, взлѣт будет короче.

— Полоса. Центрируй. Тормоза. — Голос инструктора тек ровно, как масло. — Газ полный. Держи.

Виктор дал газ. Двигатель взревел — не за спиной, а вокруг, фюзеляж завибрировал, приборы задрожали. Самолёт помчался по полосе, набирая скорость. Виктор смотрел на указатель: сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят... На восьмидесяти — нос задрался сам. Ещё чуть-чуть и земля ушла вниз.

Он летел. Один.

Впервые — один в небе. Геннадий Павлович сидел рядом, но руки его лежали на коленях, и он не трогал штурвал. Виктор управлял самолѣтом сам, своими руками, своими ногами, своими глазами. Самолёт слушался его, как гитара слушается пальцев: чуть двинул штурвал наклонился, чуть нажал педаль повернулся.

Внизу проплывали поля. Октябрьские, убранные, с чёрными проплешинами пашни и жѣлтыми островками травы. Лес стоял стеной рыжий, золотой, красный, будто кто-то разлил по нему краску. Река блестела, как осколок зеркала.

Виктор набрал высоту — пятьсот метров, потом тысяча. На тысяче было тихо. Не физически — двигатель ревел, ве-

тер свистел. Но внутри тихо. Тишина, в которой не было таблесток, не было заголовков, не было Марии — не было никого, кроме него и неба.

Он облетел аэродром, зашёл на посадку. Выпустил закрылки, снизил газ, выравниал. Полоса бежала навстречу быстро, слишком быстро, он не успевал... Нет, успевал. Триста метров, двести, сто. Касание мягкое, почти неосязаемое. Колёса коснулись бетона, самолёт покатился, замедляясь. Всё. Он приземлился.

Геннадий Павлович молчал. Виктор посмотрел на него — инструктор сидел с каменным лицом, и только в уголках его глаз что-то поблёскивало, как вода в трещине камня.

— Нормально, — сказал Геннадий Павлович. — В следующий раз — два круга.

На четвёртой неделе Виктор сделал самостоятельный полёт. Без инструктора, на яке, по маршруту: аэродром север, двадцать километров, разворот, обратный курс, посадка. Геннадий Павлович стоял на полосе, смотрел вверх, курил. Виктор взлетел, набрал высоту и пошёл на север.

Лес под ним стоял осенний, прозрачный — сквозь листву видны были дороги, дома, машины на трассе, крошечные, как игрушки. Где-то внизу люди ехали на работу, стояли в пробках, ругались, пили кофе, читали новости. Он был над ними — не лучше, не хуже, просто в другом измерении, где нет пробок и нет новостей.

И тогда он увидел её.

Не в облаке — на земле. Нет. Он не видел её на земле. Он увидел её — в себе. Как воспоминание, которое пришло без стука, без предупреждения. Мария. Не образ запах. Цветочный, простой. Что-то цветочное, что-то простое, что не шло ни к какому гранжу и ни к какому фальцет-дуэту, но было именно тем, что вернуло его к свету, когда он стоял на коленях на сцене и мир темнел вокруг него.

Мария стояла рядом. Не физически — где-то между сердцем и дыханием. Стояла и молчала, как молчала всегда, когда хотела сказать что-то и не говорила. Виктор чувствовал её молчание как давление, как тепло, как руку на плече.

— Я скучаю, — сказал он вслух. В кабине было пусто, и голос его прозвучал странно глухо, будто он говорил в подушку. — Я скучаю, Маша. Ты хотела услышать это? Я скучаю.

Ветер за бортом не ответил. Двигатель ревел ровно, монотонно, как метроном. Виктор развернул самолёт и пошёл на обратный курс.

Вечером, в гостинице, он написал сообщение. Долго смотрел на экран — курсор мигал, слова не шли. Он написал три варианта, стёр все три. Написал четвёртый оставил.

«Маша. Я летаю. На маленьком самолёте, над Подольском. Глупо, наверное. Но мне кажется, ты бы поняла. Полетай со мной как-нибудь. Буду ждать. В.»

Отправил. Выключил телефон. Лег на кровать, закинул руки за голову, смотрел в потолок. Потолок был бежевый, с

трещиной в углу — той самой, тонкой, как волос. Он следил за ней взглядом и думал: «А что, если она не ответит? Что, если она уже не ответит никогда?»

Телефон зазвонил.

Не сообщение звонок. Виктор схватил его. На экране — «Маша». Он смотрел на имя, на мигающий зелёный значок, и не мог нажать. Потом нажал.

— Алло.

Молчание. Не пустое живое. Дыхание. Шум улицы за окном. Чей-то голос вдалеке.

— Витя, — сказала Мария. — Ты правда летаешь?

— Правда.

— На самолёте?

— Да. На маленьком. На яке.

Пауза. Длинная, тягучая, как нитка, которую тянут из катушки.

— Я боюсь летать, — сказала она.

— Знаю.

— И зачем ты зовёшь?

— Потому что... — Он замолчал. Потому что что? Потому что он скучал? Потому что хотел вернуть? Потому что небо без неё было красивым, но не полным? — Потому что я хочу показать тебе, как это сверху. Земля выглядит иначе.

— Иначе — это как?

— Как будто всё, что кажется важным, — не важно. А то, что кажется мелким, — единственно важное. И я завязал.

Больше никаких таблеток.

Снова тишина. Потом тихий смех. Короткий, один слог, выдохнутый, как свеча.

— Ты поэт, Витя. Даже когда не поёшь поэт.

— Я хочу, чтобы ты прилетела со мной.

— Витя...

— Не как дуэт. Как просто. Как два человека, которым надо поговорить. В небе это проще. Там нет ни заголовков, ни продюсеров, ни... — Он не сказал «таблеток». — Ни прошлого.

Молчание. Потом:

— Я подумаю.

— Хорошо.

— Витя?

— Да?

— Ты правда бросил таблетки?

Он закрыл глаза. Трещина в потолке стала чётче — или он просто перестал моргать.

— Да, — сказал он. — Бросил.

Ещё одна пауза. Он слышал, как она дышит ровно, глубоко, как человек, который принимает решение и не знает ещё, какое.

— Я подумаю, — повторила она. — Дай мне время.

— Сколько?

— Не знаю. Я скажу.

Она повесила трубку. Виктор лежал, прижимая телефон

к груди, и смотрел в потолок. Трещина была тонкой, как волос. Но если присмотреться — от неё отходили другие, ещё тоньше, почти невидимые. Сеть трещин, паутина, которая расползалась от одного центра. От удара. От падения. От таблетки, которую он проглотил полтора года назад в студии на Профсоюзной, и которая открыла дверь, за которой было легко, а потом невозможно.

Он встал. Подошёл к окну. Москва лежала внизу огни, трубы, рекламные щиты. Где-то там Мария. Думает. Даёт ему время. Или не даёт — просто вежливость, последняя вежливость перед тем, как сказать «нет».

В кармане — ни флакончика, ни таблеток. Только телефон, тёплый от её голоса. Только небо, которое он сегодня видел сверху и которое изменило всё.

Виктор открыл блокнот. Написал:

«You were the ground I fell into / Now I'm the sky you're flying through / between the earth and what's above / there's only you — there's only love»

Перечитал. Четыре строчки. Не идеальные — рифма простая, образ наивный. Но живые. Как поле скирд, как река, блестящая осколком зеркала. Живые.

Он закрыл блокнот. Лег спать. Впервые за месяц — без снотворного.

Глава 5. Кольцо и розы

Мария стояла перед зеркалом в своей квартире на Соколе. Квартира изменилась за месяц — появились шторы, посуда,

книги на полках. Появилась жизнь, которой раньше не было. Но в зеркале отражалась всё та же Мария. Бледная, похудевшая, с кругами под глазами.

Звонок от Виктора застал её врасплох. Она думала — никогда не позвонит. Думала забыл. Оказалось нет. Оказалось помнит. И не просто помнит — зовёт в небо.

Она не ответила сразу. Не ответила и через день. И через неделю. Но мысль о полёте не отпускала — крутилась в голове, как навязчивая мелодия.

Звонок раздался в пятницу вечером.

— Маша, — голос Виктора был непривычно тихим, — я понимаю почему ты не ответила. Но я должен сказать. Я написал песню. Про тебя.

— Про меня?

— Да. Про то, как ты спасла меня на сцене. Про то, как ушла. Про то, как я... — Он замолчал.

— Витя, — сказала она мягко, — я не хочу слушать песню. Я хочу услышать тебя.

— Меня?

— Да. Настоящего. Не того, кто поёт про любовь, а того, кто не боится летать без таблеток.

Тишина в трубке была тяжёлой, как вода на глубине.

— Я больше не боюсь, — сказал он наконец. — Я научился летать без них.

— Научился?

— Да. Каждый день. Над Подольском, над лесом, над ре-

кой. Один. Без таблеток.

Мария закрыла глаза. Увидела небо высокое, чистое, с облаками, похожими на её волосы.

— Я тоже боюсь летать, — сказала она. — В самолётах.

— Это другое. В самолёте ты пассажир. А здесь пилот. Ты будешь управлять.

— Я?

— Да. Я научу.

Она открыла глаза. Посмотрела в зеркало. Женщина в отражении была той же и другой. Той же внешне. Другой внутри.

— Когда? — спросила она.

— Когда ты будешь готова.

— А если я никогда не буду?

— Тогда я буду ждать.

Через три дня Мария приехала в аэроклуб «Высота».

Поле выглядело иначе, чем она ожидала — не как место для развлечений, а как место работы. Самолёты стояли на полосе, механики возились у двигателей, курсанты бегали с какими-то бумагами. Геннадий Павлович встретил её у ангара — тот самый инструктор, который учил Виктора.

— Мария Сергеевна? — Он протянул руку. — Рад познакомиться. Витя много о вас рассказывал.

— Надеюсь, хорошего?

— Только хорошего. — Инструктор улыбнулся. — Пойдёмте, покажу вам птичку.

Як стоял на стоянке белый, чистенький, с красными полосами на крыльях. Мария подошла к нему, потрогала фюзеляж холодный, шершавый, пахнувший авиационным маслом.

— Не бойтесь, — сказал Геннадий Павлович. — Она добрая.

— Я не боюсь.

— Бойтесь. Все боятся. Первый раз — всегда страшно.

Виктор появился через полчаса — в лётной куртке, с планшетом под мышкой, с улыбкой, которая не касалась глаз.

— Привет, — сказал он. — Как доехала?

— Нормально.

— Волнуешься?

— Нет.

— Врешь.

— Да.

Они улыбнулись друг другу как раньше, как в старые времена, когда не было ни таблеток, ни ссор, ни разрывов.

Полёт длился сорок минут.

Мария сидела в левом кресле пилотском. Руки лежали на штурвале, ноги — на педалях. Виктор сидел справа, как инструктор, наставник, человек, который верил в неё больше, чем она сама.

— Газ плавно, — говорил он. — Не резко. Как будто целуешь.

Она смеялась — впервые за месяц. Смех вырывался сам,

как воздух из проколотого шарика.

Самолёт взлетел легко — будто оттолкнулся от земли и поплыл. Земля ушла вниз, поле превратилось в точку, лес — в ковёр, река — в нитку.

— Видишь? — спросил Виктор. — Ничего страшного.

— Красиво, — сказала она. — Очень.

— Хочешь попробовать?

— Что?

— Поводить.

— Сейчас?

— Да.

Она взяла штурвал осторожно, как берут чужую собаку. Штурвал был тёплым, живым, будто имел пульс.

— Держи курс, — сказал Виктор. — Видишь вон ту реку? Лети вдоль неё. Не торопись.

Мария вела. Штурвал поддавался легко, послушный, тёплый, как живое существо. Самолёт кренился, выравнивался, кренился снова и Мария каждый раз вздрагивала, хватала штурвал крепче, и каждый раз Виктор говорил: «Не дави. Расслабь. Дыши». И она расслаблялась — не сразу, не с первого раза, но расслаблялась.

Внизу проплывал лес. Рыжий, золотой, прозрачный, как будто кто-то снял с него летнюю тяжесть и оставил только остров, только суть. Между деревьями блестели водоёмы маленькие, круглые, как зеркала, забытые великаном. Мария смотрела на них и думала: «Вот так и жизнь — издали ка-

жется огромной и сложной, а сверху — горстка зеркал и ниток».

— Красиво, — сказала она.

— Я знаю.

— Ты всегда это знал?

— Нет. Я узнал, когда начал летать. До этого я знал только, как звучит сцена.

Мария покосилась на него. Он сидел, откинувшись в кресле, руки за головой расслабленный, как будто не в самолёте, а на диване. Лицо спокойное. Не бледное как тогда, в гримёрке. Живое. Загорелое, даже от поля, от ветра, от часов в небе. Она не помнила его таким.

— Витя, — сказала она. — Ты изменился.

— Пытаюсь.

— Нет, не пытаешься. Изменился. Я вижу.

Он посмотрел на неё — и в глазах его было то, чего она не видела давно: не тоска, не просительность, не мольба. Спокойствие. Спокойствие человека, который прошёл через тьму и вышел — не без потерь, не без шрамов, но вышел.

— Я тоже, — сказала она тихо. — Изменилась.

— Я вижу.

Сорок минут пролетели как пять. Мария не хотела садиться — ей казалось, что, если они приземлятся, всё исчезнет: и небо, и лес, и это хрупкое, неназванное, что повисло между ними. Но Геннадий Павлович махал с земли. Пора.

Посадку Виктор взял на себя. Мария сидела, вцепившись

в подлокотники, пока колёса касались бетона. Самолёт покатился, замедлился, остановился. Двигатель стих. Наступила тишина другая, не сценическая, не гостиничная, а живая, наполненная ветерком и далёким лаем собак из посёлка.

— Ну, — сказал Виктор. — Как?

Мария повернулась к нему. Глаза блеснули — не от слёз, от света. От света, который бывает, когда человек делает то, чего боялся, и понимает, что боялся зря.

— Ещё раз, — сказала она. — Хочу ещё.

Виктор засмеялся. Тихо, тепло как в баре с Сашей, только без виски, без тьмы, без трещины в потолке.

После полёта они сидели на скамейке у ангара. Геннадий Павлович уехал в посёлок — за маслом и хлебом, сказал, что вернётся через час. Самолёты стояли на полосе, белые и тихие, как птицы на привале. Солнце стояло низко, октябрьское, бледное, и тени от самолётов были длинными и синими.

— Маша, — сказал Виктор. — Я хотел поговорить.

— Ты всегда хочешь поговорить.

— Нет. Раньше я всегда хотел не говорить. Это разные вещи.

Она промолчала, но не отстранённо, как в гостиничном номере. Внимательно. Ждуще.

— Я написал тебе песни, — сказал он. — Шесть. Может, больше — я перестал считать. Они плохие. Я знаю. Но они честные. Впервые за два года честные.

— Витя, ты не обязан...

— Я не обязан. Я хочу. — Он повернулся к ней. — Маша, я хочу, чтобы мы попробовали снова. Не дуэт — не «Виктор и Мария», не заголовки, не продюсеров. Мы. Просто мы. Может, в Америке — там есть люди, которые работают с новыми форматами. Независимый лейбл, маленький клуб, не Дворцовый. Я не хочу во Дворцовый. Я хочу туда, где можно ошибаться.

Мария смотрела на него. Солнце светило ему в спину, и лицо его было в тени, и она не видела глаз — только контур, только линию плеч, только руки, лежавшие на коленях. Руки без флакончика.

— Ты понимаешь, что говоришь? — спросила она. — Америка — это не маленький клуб. Это другая страна, другой язык, другие люди.

— Я понимаю.

— И деньги?

— У меня есть деньги. На самолет, на перелёт, на первые месяцы. Потом заработаем.

— «Заработаем»?

— Если ты полетишь со мной.

Мария закрыла глаза. Она думала. Долго, тяжело, как человек, который несёт груз и решает, поставить его или нести дальше.

— Я поговорю с Катей, — сказала она наконец.

— С подругой?

— Да. Она скажет, что я сумасшедшая. Потом подумает. Потом скажет: «Езжай». Она всегда так.

— А ты?

— Я... — Мария открыла глаза. — Я не знаю, Витя. Я правда не знаю. Я боюсь. Не самолётов, а тебя. Боюсь, что всё вернётся. Таблетки, срывы, падения. Я не переживу второй раз.

Виктор молчал. Он не спорил, не обещал, не клялся. Молчал и в этом молчании было больше правды, чем в любой клятве.

— Я не могу обещать, что не вернётся, — сказал он. — Я могу обещать, что буду бороться. Каждый день. Без таблеток. С небом. С музыкой. С тобой — если ты будешь.

Катя приехала на следующий день.

Они сидели в квартире на Соколе — Мария в кресле, Катя на полу, спиной к дивану. Катя была маленькая, тёмненькая, с острым лицом и взглядом, который видел насквозь — не от пронизательности, а от прямоты. Она работала логопедом в детском саду и привыкла к тому, что люди говорят не то, что думают, и думают не то, что чувствуют.

— Сумасшедшая, — сказала Катя.

— Я знала, что ты так скажешь.

— Подожди, я ещё не закончила. Сумасшедшая. Но не потому, что он зовёт тебя в Америку. А потому, что ты хочешь поехать.

— Откуда ты знаешь?

— По лицу. У тебя лицо человека, который уже решил, но ещё не знает об этом.

Мария засмеялась — потому что это было правдой. Она уже решила. Решила, когда самолёт поднялся над полем, и лес стал ковром, и река ниткой, и небо единственным, что осталось. Решила, когда Виктор сказал «мы» — не «я», не «дуэт», а «мы». Маленькое слово из двух букв, которое вмещало всё.

— А если он сорвётся? — спросила Катя.

— Буду рядом.

— А если ты сорвёшься?

— Я не сорвусь.

— Ты уже сорвалась. Когда ушла.

— Я не сорвалась. Я устала. Это разные вещи.

Катя посмотрела на неё — тем самым взглядом, который видел насквозь. Потом встала, обняла.

— Езжай, — сказала она. — Ты будешь жалеть, если не поедешь. А если поедешь и будет плохо — ты хотя бы будешь знать, что попробовала.

Мария позвонила Виктору в тот же вечер.

— Лечу, — сказала она. — Но не сразу. Мне нужно две недели. Студия, визы, договор с Ларисой Петровной. Она хоть и змея, но бумаги сделает быстро. И... — Она замолчала. — Витя, я хочу, чтобы ты кое-что сделал.

— Что?

— Полетай со мной ещё раз. Перед отлётом. Чтобы я не

боялась.

— Ты не боишься.

— Боюсь. Просто не показываю.

— Как и всё.

— Как и всё.

Две недели прошли как два дня визы, документы, репетиции, а капелла в пустой квартире, где Мария пела одна, без микрофона, без колонок, без зала. Пела для стен и штор, и стены слушали, и шторы слушали, и где-то за стеной сосед стучал по батарее — не от злости, а в такт.

Виктор за эти две недели сделал три вещи.

Первое — долетал до Самары и обратно, один, на яке, четыре часа в воздухе. Геннадий Павлович сказал: «Готов к навигации». Виктор кивнул, но не это было главным. Главным было что он не думал о таблетках. Ни разу. Четыре часа, один, в небе и ни разу.

Второе — нашёл кольцо. Не в ювелирном — в антикварном, на Арбате. Маленький магазинчик, пропахший старой бумагой и нафталином, с табуретом вместо стула и владельцем-инвалидом, который говорил только по-французски. Кольцо было простое серебряное, с тонким ободком и без камня. Не обручальное — Виктор не знал, как называются такие кольца. Просто кольцо. Которое говорили: «Я здесь. Я никуда».

Третье розы. Корзину роз, двадцать пять штук, белых, крупных, с тяжёлыми головами, которые пахли так, что у

продавщицы на рынке слёзы навернулись. Виктор погрузил корзину в багажник такси, и таксист сказал: «Небось, сватаешься?» Виктор ответил: «Надеюсь».

Утро перед отлётом в Америку.

Виктор стоял на бетонной полосе аэродрома «Высота» и смотрел на самолёт. Не на як — на другой. Четырёхместный «Сессна-172», арендованный на неделю. Белый, с синими полосами, с салоном, пахнущим кожей и пластиком. За сиденьями багажник, а в багажнике, спрятанная под брезентом, лежала корзина роз. Белых, крупных, пахнущих так густо, что Виктор боялся — Мария почувствует запах ещё на земле.

Кольцо — во внутреннем кармане лётной куртки. Маленькое, лёгкое, едва ощутимое. Виктор трогал его через ткань — привычным жестом, как раньше трогал флакончик. Жест был тем же, смысл другим.

Мария приехала в десять. Джинсы, свитер, ботинки — не концертная Мария, не сценическая, а настоящая. С рюкзаком за спиной и паспортом в кармане.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — ответил он. — Готова?

— К чему?

— Ко всему.

Она засмеялась коротко, нервно, как смеются перед прыжком. Он подал ей руку она взяла. Пальцы были холодными, и он сжал их, и не отпустил.

— Полетели, — сказал он.

Самолёт поднялся легко. Не как як — «Сессна» была тяжелей, инертней, но и устойчивей. Виктор вёл, Мария сидела справа. Небо было чистым октябрьское, синее, без единого облака. Прощальное небо, как будто природа знала, что завтра они улетят в другую страну, и показывала им своё лучшее.

— Куда летим? — спросила Мария.

— На север. Над рекой. Увидишь.

Они летели вдоль Москвы-реки серебристой, изогнутой, как буква «S», написанная неуверенной рукой. Под ними проплывали посёлки, дачи, сады с голыми деревьями, дороги, забитые субботными машинами. Виктор смотрел вниз и думал: «Завтра мы будем лететь над океаном. Совсем другая вода, совсем другое небо. Но под нами та же земля, та же жизнь».

— Витя, — сказала Мария. — Что ты прячешь за сиденьем?

Он обернулся. Она смотрела на него прямо, без улыбки, с тем выражением, которое появлялось у неё, когда она знала, что её обманывают, и ждала, когда обманщик сознается.

— Ты что, почуяла?

— Пахнет розами.

Виктор смолчал. Потом:

— Не сейчас. Потом. Когда будем на месте.

— Что потом?

— Потом.

Мария не стала спрашивать. Она умела ждать лучше, чем он. Она повернулась к окну и смотрела, как земля плывёт внизу, медленная, огромная, спокойная. И вдруг сказала:

— Витя, я хочу спеть.

— Сейчас?

— Да.

— В самолёте?

— Да.

Он засмеялся. Но она не засмеялась она запела. Тихо, без микрофона, без аккомпанемента. «The Falling» — их песню, первую, ту самую, которую он написал за одну ночь в съёмной квартире на Патриарших. Она пела и её голос, чистый, как ручей в горах, заполнил кабину, смешался с гулом двигателя, с свистом ветра, с тишиной неба.

Виктор слушал. Слушал и забывал вести самолёт. Курс стал гулять — чуть влево, чуть вправо. Он поправил, выровнял, и подхватил. На слове «and I am falling, falling, falling — into you». Его голос тёмный, с хрипотцой — сплёлся с её, и они пели вместе, как тогда, три года назад, когда не было ни Дворцового, ни золотых дисков, ни флакончика. Только двое, мелодия и небо.

— Мы спелись, — сказала Мария, когда песня кончилась.

— Мы спелись, — повторил Виктор.

И в этот момент он понял: он сделает это. Сегодня. Не в Америке, не на сцене, не перед продюсером. Здесь. В небе.

Где всё началось и где всё могло кончиться.

Он не сделал. Не успел.

Потому что в этот момент что-то стукнуло в двигателе.

Сначала звук. Не громкий, не взрыв стук. Глухой, тяжёлый, как будто кто-то ударил кулаком по железной бочке. Виктор посмотрел на приборы всё в норме. Обороты, давление масла, температура всё зелёное, всё ровное.

Потом ещё стук. Сильнее. И вибрация. Фюзеляж задрожал, как в лихорадке, приборы задребезжали в гнездах, штурвал завибрировал в руках.

— Витя, — сказала Мария. Голос её был ровным, но он услышал в нём то, чего не слышал никогда: страх. — Что это?

— Не знаю, — ответил он. И соврал: — Ничего страшного.

Стук повторился и теперь он был не стуком, а грохотом. Двигатель взревел, захлебнулся, взревел снова. Из капота потянулся дым тонкий, серый, как нитка.

— Витя!

— Вижу. — Он потянулся к радиостанции. — «Высота», «Высота», я борт четыре-семь-два, чрезвычайная ситуация, двигатель, дым, прошу...

Радио молчало. Или он не слышал — гул двигателя заглушал всё.

Дым стал гуще. Из щелей капота показалось пламя оранжевое, яркое, живое. Оно лизало металл, и металл чернел, и

дым валил чёрный, едкий, забивая кабину запахом горелой изоляции и бензина.

— Маска! — крикнул Виктор. — Под сиденьем, маска!

Мария нашла — дрожащими руками, путаясь в ремешках. Прижала к лицу. Он тоже одной рукой, другой держа штурвал.

— «Высота», чрезвычайная ситуация, борт четыре-семь-два, пожар двигателя, прошу...

Огонь охватил капот. Самолёт кренился влево — Виктор тянул штурвал вправо, но машина не слушалась, как живое существо, которому больно. Высота — тысяча двести метров. Падала быстро сто, восемьдесят, шестьдесят метров в минуту.

— Парашюты, — сказал Виктор. Голос его был тихим — не от страха, от того, что кричать было бесполезно. — Маша, парашюты. Под задними сиденьями. Достань. Быстро.

Мария полезла назад. Руки тряслись она рвала ремни, путалась в застёжках, роняла. Достала два парашюта — две громоздкие сумки, оранжевые, тяжёлые.

— Надевай! — Он отпустил штурвал. Самолёт качнулся, но не упал, ещё держался, ещё летел падая. Виктор схватил парашют, накинул, застегнул. — Ты?

— Я... — Мария держала парашют в руках и не двигалась. Лицо белое, глаза огромные, как блюдца. — Витя, я не... я не умею. Я никогда не...

— Маша, слушай меня. — Он повернулся к ней, взял за

плечи. — Ты надеваешь. Прыгаешь. Считаешь: тысяча один, тысяча два, тысяча три — дёргаешь кольцо. Всё. Ты поняла?

— Нет...

— Ты поняла?

— Да.

— Надевай.

Она надела. Пальцы не слушались он застегнул за неё, проверил, подтянул.

— Витя, я боюсь.

— Я знаю.

— Я не хочу.

— Маша. — Он посмотрел ей в глаза. — Ты прыгнешь. Ты должна. Ты выживешь. Ты будешь жить.

— А ты?

— Я следом.

Врал. Он не знал — следом или нет. Двигатель горел, крыло почернело, самолёт падал, и он не знал, успеет ли. Но сейчас это не имело значения. Имело значение она.

Он открыл дверцу. Ветер ворвался в кабину холодный, свирепый, забивая дым, забивая огонь, забивая всё.

— Прыгай!

Мария стояла в дверце — внизу океан, синий, огромный, бесконечный. Ветер рвал волосы, прижимал свитер к телу. Она смотрела вниз и не двигалась.

— Маша!

— Я не могу!

Он подтолкнул мягко, но твёрдо. Она качнулась и упала. Вниз, в синеву, в ветер, в бездну. Он видел, как она падала — маленькая белая точка на фоне океана, как снежинка на синей бумаге.

Потом рванулся к дверце сам. Но самолёт качнулся, и огонь метнулся к нему, и он отшатнулся, и дверца захлопнулась. Он дернул её — не открывается. Заклинило. Он ударил ногой — металл скрипнул, но не поддался. Ударил ещё и плечо пронзила боль, дверца дрогнула, приоткрылась на пять сантиметров.

Он выбрался боком, сдирая куртку, царапая руки. Ветер ударил в лицо, выбил дыхание. Он падал крутился, кувыркался, небо и океан менялись местами. Вытянул руку — искал Марию, искал белую точку в синеве. Нашёл — в двадцати метрах ниже, парашют уже раскрылся, белый купол, как цветок.

— Маша! — крикнул он. Ветер унёс слово, порвал, развеял.

Он дёрнул кольцо. Парашют раскрылся, рывок, удар, и падение замедлилось. Он висел — в воздухе, в ветре, в синеве и искал её глазами. Она была рядом. Двадцать метров, может, меньше. Купол её парашюта белел, как облачко. Он тянулся рукой, телом, всем существом. Поток ветра нёс его к ней ближе, ближе, десять метров, пять...

Их тела столкнулись. Удар — голова к голове, висок к виску. Боль белая, ослепительная, как вспышка. Кровь горячая,

тёплая, по лицу, по глазам. Он почувствовал её руку — на секунду, на одну секунду, — схватил, сжал.

— Я люблю тебя, — крикнул он. — Больше жизни.

Ветр вырвал её руку. Купола разошлись. Она — в одну сторону, он — в другую. Океан принимал обоих синий, равнодушный, огромный.

Потом вода. Удар. Холод. Темнота.

Глава 6. Мёртвая вода

Вода была чёрной.

Не синей, не зелёной чёрной, как тушь, как бездна, как внутренность закрытого глаза. Виктор барахтался в ней — не понимая, где верх, где низ, не зная, дышит он или тонет. Парашют намотался на ноги, тянул вниз, как якорь. Он дёргал стропы — пальцы не слушались, скользили по мокрой ткани. Лёгкие горели. Голова раскалывалась — боль пульсировала в левом виске, тёплая, ритмичная, как второе сердце.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.